

И. Т. Касавин¹

ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА: ДИАЛОГ ДИСКУРСИВНЫХ КУЛЬТУР

Культура, в отличие от иных сфер человеческого бытия, есть место мирного сосуществования, взаимодействия и конкуренции образов, ценностей, идей. Этот «третий мир», если использовать термин Карла Поппера, или мир культуры существует в форме музея, библиотеки, театра, интеллектуального сообщества, герои которых постоянно вспоминают, цитируют, окликают друг друга. Предельный случай такого героя — это, по словам Иосифа Бродского, «поэт, то есть человек, легко впадающий в зависимость от порядка чужих слов, чужих размеров»², человек, всегда готовый «поклониться тени»³, или как выразился Исаак Ньютон, «стоящий на плечах гигантов».

И потому диалог, как полагал М. Бахтин, — универсальная форма бытия культурной, гуманитарной мысли, погруженной в текст, это форма ее творческого, динамического бытия. Текст есть, тем самым, не чисто лингвистическое, но значительно более широкое понятие, включающее субъект. «За любыми актами общения прослеживается наличие текста как основной и, видимо, высшей содержательной единицы общения. Важной особенностью текста является то, что любой текст всегда имеет более одного владельца, всегда находится в *совместном* владении двух или большего числа индивидов живущего поколения, что и позволяет тексту переживать своих владельцев, существовать неопределенно долго, постоянно и преемственно изменяясь в актах общения»⁴. Как сказал Х. Л. Борхес, книги подобны образам, которые кажутся живыми, но не ответят нам, если мы их о чем-то спросим. Чтобы исправить этот недостаток, Платон придумал диалог.

Итак, М. Бахтин показывает, что текст по природе диалогичен, и эта диалогичность имеет открытый ха-

рактер: смысл текста не ограничен замыканием текста на себе самом (в противоположность установкам семиотики и структурной лингвистики). Более того, диалог не ограничен и парой «автор–читатель», но предполагает предшествующих (и последующих). Как пишет М. Бахтин, «не может быть изолированного высказывания. Оно всегда предполагает предшествующие и следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено»⁵. Так текст смыкается со своей противоположностью — дискурсом.

История культуры вела человека от мифа к литературе и далее — к философии и науке. И каждая из этих форм культуры включалась в диалог с другими. Философия и наука, философия и литература, философия и религия попеременно становились то полусами, то дополняющими друг друга частями. Каждую из этих пар характеризует своя особенность, производная от позиции рефлексии. Пусть ученый, литератор, священник сами скажут, чем им мила философия. Я же скажу за философа. Наука вызывает у философии ажиотаж аналитического, обоснованного, исследовательского мышления. Религия держит философию в напряжении абсолюта. А литература учит философию создавать мифы, архетипы и творить их не путем натужной и эзотерической рефлексии, а играючи, изящно, красиво, увлекательно.

«Хотите быть философом — пишите романы», говорили философы-экзистенциалисты. Во многом популярность и Хайдеггера, и Сартра обязана стилю, языку их произведений, их литературному таланту. Глубокий смысл содержался в присуждении философам Нобелевской премии по литературе. И это не просто форма: быть может, литература сделала для человеческого познания не меньше, чем гуманитарные науки, философия в том числе, и в этом смысле она есть подлинная база философской антропологии. А последняя, в свою очередь, смыкается с онтологией творчества как тайны и призвания человека, соревнующегося с создателем. Отсюда ход к метафизике литературного дискурса, метафизике письменного стола и библиотеки как образов пространства и времени творческого процесса, к аналогиям между письмом и сном, творчеством и сном, к таким понятиям, как мечта, чудо и легенда.

Существует очень много примеров использования литературы в философском дискурсе — как объекта ис-

¹ Заведующий сектором социальной эпистемологии Института философии РАН, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор. Автор свыше 300 научных работ, в т. ч. книг: «Теория познания в плену анархии», «Рациональность в познании и практике», «Познание в мире традиций», «Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания», «Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической эпистемологии», «Анализ повседневности», «Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка» и др. Главный редактор журнала Института философии РАН «Эпистемология и философия науки», главный редактор Энциклопедии эпистемологии и философии науки.

² Бродский И. Примечание к комментарию // Бродский И. Соч. Екатеринбург, 2003. С. 776.

³ «Поклониться тени» — так назвал И. Бродский свое эссе, в котором он отдал поэтический долг английскому поэту Уистану Хью Одну (см.: Бродский И. Поклониться тени // Бродский И. Соч. Екатеринбург, 2003).

⁴ Там же. С. 83.

⁵ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 340.

следования; как дескриптивно-феноменологического, нарративного, диалогического, утопического метода; как формы обоснования или иллюстрации идеи. Отдельно скажу об эпистемологии, в которой сегодня «натуралистический тренд», редуцирующий ее к науке, противостоит мифопоэтическому дискурсу в стиле Р. Рорти или П. Фейерабенда. Как только были преодолены известные демаркации науки и метафизики, контекста открытия и контекста обоснования, набор эпистемологических ресурсов резко расширился. Наука, строгое рассуждение вообще ограничены в достижении результатов; именно поэтому использование «нестрогих», литературно-художественных способов выражения, литературно-культурной фактуры восполняет лакуны в реконструкции познавательных ситуаций, в анализе творчества, в выдвигании творческой идеи.

То, как литература — в снятом, скрытом виде — проникла в самую сердцевину философского мышления, иллюстрирует идея «универсалий культуры», казалось бы, рожденная самим рефлексующим разумом. Однако это было рефлексией по поводу литературы и во многом рефлексией с использованием литературных же методов. Х. Л. Борхес представлял себе все интеллектуальное развитие человечества как бесконечные интерпретации и комментарии по поводу одной или нескольких метафор: «Быть может, всемирная история — это история различной интонации при произнесении нескольких метафор»¹. Метафора, достигшая уровня архетипа, стала главным способом трансцендирования за пределы эмпирической реальности и в этом смысле — основным способом философского мышления.

Когда некоторому элементу специфической культуры придается столь общий и абстрактный смысл, что возникает возможность отрыва ее от локальной культуры и истории, то возникает универсалия. М. Элиаде говорит в связи с этим о культурном символизме как «скважине» в трансцендентное, как продукте *процесса исторической универсализации*².

И К. Хюбнер³, и В. С. Степин⁴ обращают внимание на две стороны культурной универсалии — концептуальную и экзистенциальную. Это, если хотите, две версии фундаментальной реальности — объективно-отстраненная, научно-аналитическая, с одной стороны, и человекообразная, эмоционально нагруженная — с другой. Отсюда берут свое начало и два способа выражения как трансцендирования — логический и художественный, проблематизация и мифологизация. Философия проблематизирует действительность и знание о ней, литература строит миф о действительности

¹ Борхес Х. Л. Сочинения : в 3 т. Рига, 1994. Т. 2. С. 15.

² «Образы — это “скважины”, ведущие в надисторический мир. И это не единственное их достоинство: благодаря им различные “истории” получают возможность общаться между собой... Благодаря христианизации божества и святилища всей Европы получили не только общие имена, но в каком-то смысле обрели свои собственные архетипы и, следовательно, универсальные ценности» (Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., 2000. С. 244–245).

³ См.: Хюбнер К. Религиозные аспекты экзистенциального анализа у Хайдеггера // Религия, магия, миф: современные философские исследования. М., 1997.

⁴ См.: Степин В. С. Мироззренческие универсалии как основание культуры // Универсалии восточных культур / отв. ред. М. Т. Степанянц. М., 2001.

и знании, хотя здесь дело только в акцентах. Литература тоже проблематизирует, но *иначе*; философия тоже мифологизирует, но *иначе*.

Вообще и творчество, и его истолкование — это стремление сказать нечто *иначе*, *инаковость мышления и высказывания*. Человек с самого начала своего несовершенного бытия столкнулся с тем, что его представления и слова не дают выхода из складывающейся ситуации. Крушение Вавилонской башни привело его к необходимости все время подгонять свои обозначения к новым обстоятельствам, выражать *иначе* то, что он уже знает, но что в данной ситуации *не подходит*. Отсутствие однозначной связи между объектом, смыслом и словом — источник всякой попытки иносказания. *Иносказания* не просто как намека, эвфемизма, смены интонации, но как *универсального механизма создания текста, взаимодействия текста и контекста в дискурсе*. С изобретением этого механизма уже не стало текста, который бы не явился иносказанием того, что сказано ранее, и о том, о чем сказано по-другому; и нет отныне объекта, о котором может быть сказано только так, а не *иначе*.

В чем вечная проблема несоизмеримости языка и мира? В мире, требующем изменения, или в языке, вынуждаемом к иносказанию? Жизнь не удовлетворяется повторением пройденного, она требует модификаций, отклонений от правил, нарушения стандартов. И здесь же — всякое изменение мира не приводит в точности к поставленным целям, а потому нуждается в оправдании этого несоответствия с помощью языковых приемов. Если нельзя изменить мир в желаемом направлении или вообще его изменить, то можно, по крайней мере, выразиться *иначе*, чем уже было сказано.

Вспомним: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай, кто же убьет, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших».

Вот так — «А Я говорю вам...», — упорно повторял Иисус в своем парафраза пророков, обличая не столько дела, сколько сознание и язык, а именно мысли, чувства, способы выражения. Отныне несоответствие мира и языка — вина человеческого бытия, гневливого, вожделеющего, всеу взывающего к Богу. Вина порождает страх. Страх требует отчуждения вины от человека, освобождения от ответственности. Но вина, как трагическое напряжение духа, рождает и духовность, а духовность вновь вспоминает о вине и готова к покаянию. *Духовность, находящаяся в страхе, скрывается от самой себя, она играет; играющая духовность ищет и находит формы своего выражения — в иносказании, сочинительстве, творчестве*.

Ситуации иносказания — это перекрестки культуры, акты созидания культурных объектов, новые интонации в произнесении метафоры, как сказал бы Х. Л. Борхес. Вся литература — это архетипические метафоры и интонации. И среди них три главных — мечта, чудо, легенда, фиксирующие трансцендентальные аспекты бытия. Теперь об этом подробнее.

Мечта — это прогноз без оснований.

Мечтать можно лишь о невозможном. Все возможное следует просто планировать и осуществлять. Если мы пытаемся осуществить мечту как таковую, то получаем утопию. Обломов мечтал о всеобщем благе людей — о вещи, заведомо невозможной, но он был достаточно умен для того, чтобы не стремиться к ее достижению. Мечта выполняет регулятивную функцию; она служит ориентиром для планирования и прогноза, задавая им «сверхзадачу», обеспечивая *пространство творчества и временной горизонт рефлексии*. Реализованная мечта — противоречие в себе, это — чудо.

«Не забудьте, что мнящаяся нам невозможность вещи — первая примета ее естественности, само собой разумеется — в мире ином»¹, — писала М. Цветаева. И у нее же: «Письмо как некий вид потустороннего общения менее совершенно, нежели сон, но законы те же. Ни то, ни другое — не по заказу: спится и пишется не когда *нам* хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным»².

Чудо — это закон невозможного.

Чудо являет собой пример не только ограниченности человеческого знания о будущем, но и границы понятия причинности и закономерности вообще. Так, совпадение двух и более независимых друг от друга причинно-следственных цепочек во времени есть постоянно повторяющийся факт, не укладывающийся в понятие закономерности как того, что противостоит случайности. Это есть столкновение разных, несоизмеримых миров.

Чудо эфемерно и мимолетно; как только оно произошло, это уже не чудо, а продукт действия некоторых законов. Поэтому чудо не есть причина некоторых событий, его нельзя использовать, из него нельзя извлечь полезных результатов. Чудо есть пример *абсолютной беспристрастности и безвременья*: в «момент чуда» время останавливается, а пространство сжимается до математической точки. Непосредственное переживание чуда исчезает почти сразу, единственный его свидетель и способ фиксации — память легенды.

Легенда — это память о небывшем.

Чудо представляет собой прасобытие, лежащее в основе всякой легенды. Легенда же — литературная версия чуда, предназначенная для его частичного воспроизводства при необходимости, своего рода «карманная магия», напоминающая людям о сакральности бытия. Одновременно с этим легенда есть рефлексивное развертывание, разработка онтологии, производной от чудесного прасобытия. Однако легенда не является сообщением о случившемся, это просто способ его языкового бытия, несущий в себе элементы чудесного. Именно благодаря ему легенда реализуется в классических и настольных книгах, необъяснимо и упорно читаемых от поколения к поколению. Легенда обеспечивает непрерывность сакрального пространства и времени, она питает мечту и замыкает собой кольцо сакрального бытия. А что же философия, ведущая диалог с литературой? Где ее архетипы?

¹ Цветаева М. Письма к А. Штейгеру // *Опыты*. Нью-Йорк, 1955. № 5. С. 47.

² Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. С. 542, 547.

Вопрос — символ философии.

Неустанная миграция философского ума, его неуспокоенность, неудовлетворенность наличным проявляется в особом методе мышления. Философия может быть понята как теоретическое выражение природы человека вообще, поскольку ему свойственно удивляться, сомневаться, ставить под вопрос все что угодно. Здесь уместно вспомнить принцип герменевтического первенства вопроса (Г.-Г. Гадамер). Вот еще несколько отсылок к авторитетам.

Михаил Бахтин: «Смыслом я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла».

Поль Рикер: «Великий философ — это тот, кто открывает новый способ спрашивать».

Вернер Гейзенберг: ученого в философии «интересуют, прежде всего, постановки вопросов и только во вторую очередь ответы. Постановки вопросов кажутся ему весьма ценными, если они оказываются плодотворными в развитии человеческого мышления. Ответы же в большинстве случаев носят преходящий характер, они теряют в ходе времени свое значение благодаря расширению наших знаний о фактах».

Робин Коллингвуд: «Вы никогда не сможете узнать смысл сказанного человеком с помощью простого изучения устных или письменных высказываний, им сделанных... Чтобы найти этот смысл, мы должны также знать, каков был вопрос (вопрос, возникший в его собственном сознании и, по его предположению, в нашем), на который написанное или сказанное им должно послужить ответом».

Что же есть вопрошание само по себе — спросим, используя сократический метод. Подвергнуть вопросу, поставить вопрос под вопрос — все это процедуры возведения вопроса в степень. Мы делаем это для того, чтобы понять истоки человеческой способности ставить вопросы; не объяснить этот феномен научно, но осознать смысл этой способности в контексте человеческого бытия.

С вопросом человек отправляется в странствие, с вопросом встречаются странника и ищут у него ответа. Вопрос — языковое проявление динамичности бытия, его миграционной природы. «Откуда ты это знаешь?» — тот самый первый вопрос.

Вопрос — проявление недостаточности знания, в основе которого лежит недостаточность бытия. Вопрос — это звук, который издает Ничто, как сказал бы Хайдеггер, если бы его спросили. А может, он так уже и сказал. Нарушение порядка природы, сбой в человеческой деятельности или общении приводят к вопросу о причинах. Почему же именно мне так не повезло? В этом смысле первый вопрос обращен к себе и только потом — к другому. Однако этот первый вопрос — бессловесный, невысказанный, бесформенный, вопрос-протест, раздражающийся еще животным нутряным криком, но уже переходящим в задумчивый стон. Однако то, что может быть спрошено, должно быть спрошено ясно, как сказал бы другой философ (или уже сказал, это не важно).

«Кому выгодно?», «Кто виноват?», «Что делать?», «Быть или не быть?» — вопросы, задающие параметры индивидуальной судьбы и перспективу нации и го-

сударства. Уголовные процессы и революции, личные трагедии и трещины мира, проходящие через сердце поэта, — вот следствия этих вопросов. То обстоятельство, что на один и тот же вопрос можно дать разные и даже взаимоисключающие ответы, являет собой потрясающую поливариантность, характерную именно для человека, для его мобильного бытия и абстрактного мышления. Истина и заблуждение, доказательство и опровержение, гипотеза и факт, проблема и догма — эпистемологические полюсы человеческой проективности, бытия под вопросом.

Вопрос, пробуя на ощупь границы бытия, одновременно задает их. Вопрос как форма требовательной власти, как спрос; ответ как форма непокорной ответственности, как небезответность. Тяжесть неизбежных вопросов с самого рождения несет на себе человек; это признак силы и слабости человека, мера субъективной

открытости миру и непостижимости этого мира. Младенец в чреве матери, свернувшийся в защищающе-осторожном вопрошании. Сгорбленный старик с клюкой в форме вопроса, словно из загадки сфинкса, разгаданной Эдипом. Что осталось позади? Что ждет впереди? «Мыслитель» Родена сидит сгорбившись, как вопросительный знак. Бытие начинается с вопроса и заканчивается им.

Мы определили литературу как конструирование архетипов мечты, чуда, легенды. Философия получила свою дефиницию как особый способ вопрошания. Он состоит в концептуализации человеческого бытия как трансцендирования путем мысли, слова, поступка. Пусть литература, творя архетипы, пробует на прочность границы бытия. Философия же проблематизирует возможность архетипа как такового. И в этом их единство — вопреки очевидности.